



В. ПОССЕ

Певец протестующей тоски

(М. Горький. Очерки и рассказы. 2 тома. 1898 г.)

I

В художественном произведении мы воспринимаем действительность, преломленную сознанием художника. Художник обогащает и расширяет жизнь своим творческим талантом. Многие, непосредственно недоступные нашим чувствам, становятся доступными через посредство художественных произведений. Их можно сравнить с физическими приборами Рентгена, при посредстве которых делаются для наших чувств доступными невидимые световые лучи.

Чем сильнее талант художника, тем больше невидимых жизненных лучей, преломившись через его творческую призму, делаются видимыми, тем больше обогащается им действительность, доступная обычному взору.

Художник открывает нам новые звуки, новые краски в окружающей природе; он открывает нам новые черты, новые душевные движения в окружающих нас людях и в нас самих. Взглянув на картину или статую, прослушав музыкальную вещь, прочитав повесть, мы нередко чувствуем, что в нашей душе начинают звенеть новые, незнакомые нам доселе струны, что наша духовная жизнь обогащается, расширяется.

Человечество обладает уже многими истинно художественными произведениями, многое невидимое стало видимым; но было бы слишком смело утверждать, что этим сужены задачи художественного творчества, что художникам придется вскоре лишь повторять созданное их великими предшественниками. Пределы художественного творчества так же широки, как пределы научных изысканий. И в том и в другом случае жизнь и природа, по-видимому, неисчерпаемы. Но, конечно, ни новые

научные открытия, ни новые произведения художественного творчества не являются изолированными от ранее созданного или открытого. Как бы ни был оригинален современный художник, он все же связан со своими предшественниками, он продолжает их творчество, в его сознании преломляется действительность, в той или другой степени обогащенная и расширенная их художественным творчеством.

Могуч и оригинален художественный талант Максима Горького, нова и оригинальна та действительность, которая, преломившись в его сознании, переливается перед нашими глазами таким поразительным разнообразием красок; и все же многие основные тоны этих красок уже знакомы нам из других произведений, что, впрочем, отнюдь не ослабляет значения и интереса его произведений.

Многие черты и душевные настроения героев Горького встречались не раз в произведениях лучших русских писателей, но сами герои тем не менее новы и оригинальны. Ново и оригинально, что черты и настроения людей из среды привилегированной, среды барской и интеллигентно-разночинной, среды, художественными выразителями которой являются Гоголь, Щедрин, Тургенев, Толстой и др., в несколько ином виде свойственны и героям М. Горького, первого талантливого художника — представителя рабочего пролетариата.

Ново и оригинально, что творческая призма Горького, вылитая из совершенно своеобразной массы, собирая лучи совершенно новой среды, дает те же основные тоны, какие давали творческие призмы писателей привилегированных, интеллигентных слоев.

До сих пор у нас были писатели, в произведениях которых отражалось русское барство, русское чиновничество, русская интеллигенция; были у нас и писатели, которые писали о народе, писали о нем, так сказать, со стороны.

Горький же является едва ли не первым талантливым писателем-художником, в котором непосредственно отразилась душа рабочей массы, душа русского бродячего пролетариата.

Многие лучшие наши писатели являются представителями дворянской, буржуазной и интеллигентной России даже тогда, когда они изображают народ; Горький остается писателем-пролетарием, писателем-босяком даже тогда, когда он рисует купцов, разночинцев и интеллигентов.

Произведения Горького следует сравнить, по нашему мнению, не с произведениями о «народе», понимая под ним крестьянскую и рабочую массу, а с произведениями, где привиле-

гированная и интеллигентная среда изображается ее собственными представителями. «Босаяцкие» рассказы Горького, вроде «Коновалова», следует, по нашему мнению, сопоставлять не со слащавыми «народными» повестями Григоровича, даже не с народными очерками интеллигентов Успенского и Златовратского, а с «барскими» произведениями Гоголя, Тургенева и Щедрина.

Творческий талант Горького призван открывать общечеловеческие стремления и настроения в низших, обездоленных народных слоях, как это сделали художественные таланты Гоголя, Тургенева, Толстого и Щедрина в родственной им привилегированной среде. Но как эти великие дворянские и буржуазные писатели стремились подчинить своему художественному творчеству не только свою буржуазно-дворянскую, но и крестьянско-рабочую среду, так и Горький пытается охватить своим пролетарским сознанием не только рабочую среду, но, по возможности, все общественные слои.

Его настоящими героями являются босяки. В момент художественного творчества он сливается с ними, его душа проникается их чувствами, их стремлениями, их любовью и ненавистью. На всех остальных, на купцов, разночинцев, интеллигентов и даже крестьян, он смотрит со стороны, но смотрит пытливо и проникновенно.

II

Основное душевное настроение, воспринятое Горьким из окружающей действительности, может быть охарактеризовано словом *тоска*, как и называется один из лучших его рассказов. Тоска — понятие широкое; под него подойдут довольно различные душевные состояния, отчасти представляющие развитие одного и того же настроения.

Самую низшую ступень тоски, самое грубое ее проявление представляет из себя скука. Скука чрезвычайно характерна для русской жизни, как в современном, так, в особенности, в дореформенном периоде. Вы помните, потрясающее в своей простоте и искренности восклицание, вырвавшееся у Гоголя в конце его «смешной» повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?.. «Скучно жить на этом свете, господа!..»

В сущности, эти слова могут вырваться по прочтении большинства бытовых произведений Гоголя.

Разве не убийственно скучна жизнь всех героев «Мертвых душ», «Ревизора» и «Старосветских помещиков»? Скука, внутренняя скука сочится сквозь внешнее веселье, которым с таким искусством прикрыл ее великий сатирик крепостной России. Если верно, что сквозь видимый смех Гоголя звучат незримые слезы, то еще вернее, что сквозь его веселье глядят мертвые глаза скуки дореформенной русской жизни с ее пошлостью, мелкими мошенничествами и сплетнями, заменяющими крупные общечеловеческие интересы.

Эти мертвые глаза глядят еще неизмеримо страшнее в глубоком ужасных произведениях великого Щедрина — в «Господах Головлевых» и «Пошехонской старине».

Прочитав эти произведения, поймешь, как убийственна, как жестока может быть скука.

Эту жестокую, грубую скуку отчасти воспринял в свое творческое сознание и М. Горький, певец по преимуществу высших стадий тоски — именно грусти и протестующего довольства.

Жестокость обычной, с виду вполне невинной скуки ярко выступает в его небольшом очерке «Скуки ради». Очерк чрезвычайно характерен и интересен, но мы не решаемся пересказывать его содержание. Пересказывать произведения Горького не то что трудно, а как-то жалко. Они — не рассказы о жизни, они — сама жизнь, которая тотчас замирает от грубого прикосновения пересказчика. Ограничимся указанием на сущность фабулы.

Кучка служащих на брошенном в степи железнодорожном полустанке «скуки ради» до смерти засмеивают тихую пожилую женщину — кухарку Арину за ее связь с железнодорожным стрелочником. Очерк написан без всяких подчеркиваний, но тем не менее, прочитав его, трудно удержаться, чтобы не воскликнуть: «Страшно жить на этом свете, господа!»

Та же скука, но скука другой среды, схвачена Горьким в очерке «Зазубрина».

В рассказе «Скуки ради» скучают мелкие железнодорожные чиновники, полуинтеллигенты, один из которых постоянно говорит цитатами из Шопенгауэра. В «Зазубрине» скучают арестанты, скучает «мир отверженных».

Для их увеселения тщеславный арестант «Зазубрина» замучивает котенка, опуская его в ведро с зеленой краской.

Железнодорожные философы ничуть не жалеют повесившейся от срама несчастной Арины. «Отверженные» сначала смеются над крашеным котенком, но затем, видя его страдания, чуть не плачут, жалеют его и жестоко избивают мучителя Зазубрину.

В сознании Горького «мир отверженных» отражается более человеческим, менее равнодушно-жестоким, чем среда полуинтеллигентных железнодорожных чиновников. Специально арестантов Горький касается лишь вскользь, но он дает глубоко прочувствованную и продуманную картину жизни другой категории «отверженных», а именно «бывших людей». «Бывшими людьми» Горький называет обитателей «ночлежки» (ночлежного дома), выбитых из жизненной колеи, лишившихся постоянного заработка и крова. Мы видим среди них людей когда-то разных положений, разных профессий: ротмистра, учителя, лесничего, дьякона, тюремщика и т. д., но все они бывшие, всех их уравнила «ночлежка», которая в этом отношении значительно превосходит каторжную тюрьму.

И они стали бывшими людьми не потому, чтобы были хуже или глупее тех, которые ровно и спокойно катятся по жизненным рельсам, а потому, что они, с одной стороны, слишком индивидуальны, чтобы спокойно брести с людским стадом, с другой, недостаточно сильны и развиты, чтобы подняться над ними и примкнуть к людям будущего.

Над «бывшими людьми» тяготеет уже не тоска-скука, а тоска-злоба...

«И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой. Ими ощущалась близость того неумолимого врага, который всю жизнь их превратил в одну жестокую нелепость. Но этот враг был неумолим, ибо неведом.

И тогда они били друг друга; били жестоко, зверски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилон. Так в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы» (II, 186—187)*.

Проявления этой злобной тоски, этой тоски-злости, как видите, отвратительны, но она все же выше барской скуки, хотя бы прикрытой гоголевским смехом.

Скука — неподвижна, безжизненна, мертва.

Тоска-злоба скрывает в себе недовольство окружающими условиями, скрывает в себе полусознательный протест против «подлой жизни». Злоба толкает «бывших людей» на борьбу, мелкую, почти бесплодную, но все же борьбу. Борьба приносит

* Ссылки здесь и в следующих статьях даются на стр. рецензируемого издания, указанного в заглавии (Ред.).

бодрость и жизнь. Осенняя тупая злоба сменяется по временам злобой протестующей, злобой бодрящей и будящей тех несчастных, которые никогда не были людьми.

Бывшие люди вносили с собой в среду забытых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды («ночлежки») и так же выброшенных из города, как и они. Уменьше все говорить и все осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаля этих людей не могла не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь немножко безнаказанно смошенничать.

Наряду со злобной тоской «бывших людей», людей голодных, людей-неудачников, Горький рисует тоску боязливую, тоску сытых людей, людей-удачников, катящихся беспрепятственно по уготовленной для них жизненной колее. В этой тоске страх смерти смешивается с недовольством, вытекающим из внезапного сознания полной пустоты прожитой жизни. Это — та тоска, которая гложет перед смертью толстовского Ивана Ильича¹.

У Горького эту тоскою заболевает зажиточный мельник Тихон Павлович, герой рассказа «Тоска». Тихон Павлович до старости прожил сытым, довольным человеком, проникнутым «стойким жизнерадостным чувством». И вдруг это чувство «куда-то провалилось, улетело, погасло и на место его явилось нечто новое, тяжелое, непонятное и темное» (I, 269—270).

Перемена в Тихоне Павловиче, как и в Иване Ильиче, произошла перед лицом смерти, но у Ивана Ильича это была его собственная смерть, у Тихона Павловича — смерть неизвестного ему писателя, на похороны которого он попал случайно. Разница в данном случае не существенная, так как смерть писателя вызвала в Тихоне Павловиче представление о приближении его собственного расчета с жизнью.

Иван Ильич — высокопоставленный и образованный чиновник, Тихон Павлович — полуграмотный мельник, но тем не менее основа их тоски, их ноющего и гложущего душу недовольства жизнью — одна и та же. Приближаясь к смерти, они оба тоскуют, что всю жизнь угнетали живую душу мелкими, мертвыми делами.

«Не живет душа-то», — размышляет затосковавший мельник. — «Дела все — главная причина? О душе-то подумать не-

когда. А она вдруг и того... и восстала, значит. Пускай час улучила да и воспряла... Вот-те и дела! И к чему очень уж много делов затевать, коли все равно умирать? Для чего готовим себя, ежели гольем жизнь-то взять? Для... смерти. С чем пойдем пред лицо Господа? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом...» (I, 277).

«И эта мертвая служба и эти заботы о деньгах, — думает умирающий Иван Ильич — и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько от меня уходила жизнь... И вот готово — умирай!»

Разве эти настроения в сущности не одинаковы?

III

Предсмертная тоска Ивана Ильича и Тихона Павловича родственна тоске-грусти, тоске-скорби, стоящей, однако, несомненно выше ее и встречающейся у натур несравненно более сложных и тонких. Этой скорбной или грустной тоской в различных ее проявлениях наделены почти все наиболее характерные герои Тургенева, созданные им в большей или меньшей степени по образу и подобию своему. Рудин, Нежданов², «Лишний человек», «Гамлет Щигровского уезда» — все они болеют скорбной тоскою и все они родственны друг другу, несмотря на громадное внешнее различие.

К их скорбно-тоскливой семье принадлежит и неграмотный босяк Коновалов, один из наиболее любопытных героев Горького.

В скорбной тоске, периодически нападавшей на Коновалова, нет ни капли злобы. В своих неудачах и несчастьях он винит исключительно самого себя, не ссылаясь ни на злых людей, ни на злую судьбу.

Он винит себя, что не нашел точки, на которую мог бы опереться, когда на него со всех сторон валила разная темная сила, толкая в беспутную пьяную босяцкую жизнь.

«...Я сам виноват в своей доле!.. — говорит Коновалов. — Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу.

...И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... и ни в какой порядок не включаемся. Особый нам и счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы

нас искоренить из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы перед собою и жизнью виноваты! Потому у нас охоты к жизни нет и мы чувств не имеем...» (II, 22).

«Несчастный, этакий ядовитый дух от меня исходит. И как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь, ежели подумать — кому я всей своей жизнью удовольствие принес? Никому! Я тоже со многими людьми дело имел... Тлеющий я человек...» (II, 45).

Как во всяком самобичевании, так и в этом, коноваловском, много болезненного преувеличения, но есть и значительная доля правды. Коновалов добр и отзывчив, сознательно он никому не причинит зла, но бессознательно он многим приносит горе, страдание, и оно тем сильнее, чем ближе ему человек.

Особенно характерно его отношение к женщинам. Он понимает женскую душу и сердце, он относится к женщинам просто, по-человечески, и женщина оценивает его беспристрастную детскую душу, быстро и крепко привязывается, привыкает к нему, но тут-то и начинается ее горе, ее страдание.

Коновалов, которому не справиться с самим собою, с своими сомнениями, со своей тоской, окончательно теряет равновесие, когда с его душой стремится слиться душа беззаветно полюбившей его женщины. Эта душа тоже истерзана сомнениями, тоже полна горем и грустной тоской, потому что Коноваловых любят ведь только исстрадавшиеся, несчастные женщины. В любовь к нему они кладут весь остаток своих сил, весь остаток своей жизни, но, увы, тоскующая душа Коновалова — неверное хранилище. Еще сильнее поднимаются в ней сомнения, еще меньше остается веры в свои силы, еще больше растет недовольство и ноющая тоска. Измученный, настрадавшийся, в отчаянии он бежит, наконец, от полюбившего его человека, нанося ему этим нередко последний удар.

Этот неграмотный босяк страшно в сущности близок тургеневскому Рудину. Они скитаются по миру одинокие, бездомные, с разладом и бесплодными порывами в своих тоскующих душах. Оба ищут любви и боятся ее, оба влекут к себе и отталкивают от себя, обоим «суждены благие порывы, но ничего совершить не дано».

У обоих, как говорит про себя Коновалов, нет в душе «искорки», нет в душе «силы» — обоим «некуда деться», обоим «не к чему присунуться». Оба стоят выше окружающей их среды, оба чувствуют «беспорядок жизни», но обоим не хватает

сосредоточенности, любви, а еще больше ненависти, чтобы начать с этим «беспорядком» разумную, последовательную борьбу...

Коноваловы гибнут, не совершив ничего, но их тоска имеет свое значение, в ней — первый проблеск протеста против царства мертвящей скуки, прикрытой или не прикрытой гоголевским весельем.

Еще более этого протеста в душевных состояниях героев Горького, героев, для него наиболее характерных: Григория Орлова, «Озорника», Челкаша, Пиляя и других настоящих или будущих «босяков».

Все они тоже тоскуют, но их тоска более походит на злобу «бывших» людей, чем на грусть Коновалова.

Их недовольство направляется не внутрь, а наружу, не на самих себя, а на окружающую обстановку, на условия жизни и на людей иного общественного положения.

В них уже чувствуется сознание группового, «босяцкого» интереса, они уже пытаются ориентироваться среди других общественных групп и их интересов.

Прежде всего, они сознательно противопоставляют себя крестьянству, которое, так сказать, выделило их как элемент, не подходящий к деревенскому порядку. Но босяки отнюдь не считают себя крестьянским отбросом; напротив, они чувствуют себя выше, сильнее и развитее мужиков, к которым относятся полужлобно, полупрезрительно. Босяцкую беспокойную и протестующую душу возмущает мужицкая неподвижность и в особенности мужицкая покорность, мужицкое спокойствие.

Босяк Сережка (в «Мальве») презрительно называет мужиков «земледами тупорылыми, которые ни черта в жизни понимать не могут». Он ненавидит молодого крестьянина Якова за то, что от того «деревней воняет», «а я, — говорит он, — запаха этого не терплю». Но к презрению у Сережки примешивается и нечто вроде зависти.

«Я, видишь ты, — говорит он Мальве, — всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, им и хлеба дают и... все! У них вон есть земство, и оно все для них делает... хозяйство у них, земля, скот... Они ноют, да притворяются, но жить могут, у них есть зацепка — земля. А я что против них?» (III, 63). Но, разумеется, Сережка за эту «зацепку» не отдал бы своей вольной босяцкой жизни, как не пожелал бы, подобно деревенскому парню Якову, чтобы Черное море превратилось в черноземную равнину.

Сережке нет возврата в деревню, земля потеряла над ним свою власть, слабый отголосок которой, впрочем, еще слышится в завистливом расписывании мужицкого благополучия.

Этот отголосок звучит еще сильнее в словах босяка и вора Челкаша, беседующего с крестьянским парнем Гаврилой о деревенском житье.

«Сначала он говорил, скептически посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику, напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам он давно разочаровался, о которых забыл и вспомнил только теперь, — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы спрашивать парня о деревне и о ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни, брат, свобода! Хозяин есть ты сам себе. У тебя твой дом, — грош ему цена, — да он твой. У тебя земля твоя, — всего и того ее горсть, — да она твоя! Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на своей земле!.. И потом порядок... Утром встал — работа, весной одна, летом другая, осенью, зимой — опять иная. Куда ни пойдешь, воротись в свой дом. Тепло!.. Покой!.. Король ведь? Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш длинный перечень крестьянских преимуществ и прав и почему-то запомнил об обязанностях» (I, 90—91).

Но воодушевление Челкаша немедленно сменяется раздражением и презрением, как только очарованный Таврило начинает вторить ему:

«Это, брат родимый, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь без земли? Ага!.. землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда чуть только его самолюбие бесшабашного удальца бывало задето кем-либо и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолол!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!» (I, 91).

И для Челкаша нет возврата к земле, и Челкаш не променяет свою бесшабашную, беспокойную жизнь на мужицкую «свободу», «покой» и «порядок».

В нем уже живет жажда другой свободы, непримиримой с мужицкой, в нем уже нет жадности собственника, этой главной опоры «власти земли».

Эта мужицкая жадность великолепно схвачена Горьким в лице добродушного Гаврилы. Челкаш понимает ее, но сам он поднялся над ней.

Замечая, как глаза Гаврилы разгораются при виде денег, Челкаш задумчиво говорит:

«А жаден ты... Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин...» (I, 98). Челкаш принадлежит к той категории «босяков», которые сами понимают мужицкую душу, которые еще чувствуют в себе некоторую связь с деревней, которые если и презирают крестьян, то все же относятся к ним по-человечески, без лютой ненависти. Но между «босяками» есть такие, которые сами не были крестьянами, в душе которых не осталось никакой связи с деревней, которые не могут понять мужика, которые ненавидят его.

Таков Емельян Пиляй.

«— Я бы его (мужика), черта тугопузого, пронзил! — восклицает Пиляй.

— Ну, что уж так жестоко! Смотри-ка вон, он голодает, мужик-то, — возражает Пиляю рассказчик.

— Как-с? Голодает?.. Хорошо-с! Правильно-с! А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Нда-с! Он голодает почему? Неурожай? Сомнительно. У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других прочих империях неурожая нет? Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке грести; там думают, вот что-с!..» (I, 20).

Глядя на мужиков снизу вверх, на людей интеллигентных босяки, — по крайней мере, наиболее развитые из них, — смотрят как на своего брата, на брата ученого, обязанного давать «указание пути жизни». Этого указания искал у интеллигенции наборщик Гвоздев, прозванный за свои проделки «озорником», искал — и не нашел. Он встретил рассуждение на тему «почему», встретил разные «точки зрения», а ему было нужно прямое непосредственное указание, как подняться лично ему, Николаю Гвоздеву, подняться оттуда, где он «гниет в невежестве и озлоблении своих чувств». Он чувствовал, что между интеллигентным редактором либеральной газеты, пишущим о несчастиях рабочего люда, и им, наборщиком Гвоздевым, нет жизненной связи, что они чужие друг другу, что он, как человек, не имеет для редактора никакой цены.

«Я чувствую обиду в моем положении, — говорит Гвоздев. — Чем я хуже вас? Только моим занятием...» (II, 252).

«Как вы думаете, — говорит он дальше, — легко мне теперь работать на моих товарищей, которым я в старину носы расквашивал? Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватер-клозет устанавливал, —

сорок копеек на чай получать? Ведь, он одного со мною ранга... И было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и по-сейчас, как тогда были...» (II, 253).

Человеческое достоинство Гвоздева возмущается различием общественного положения, возвышением одного человека над другим, раз оно обуславливается занятием и знанием, но он примиряется с этим, раз оно обуславливается происхождением.

«Вы не настоящие господа жизни, не дворяне», — говорит он редактору из разночинцев.

«С тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: “Пшел к черту!” — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее...» (II, 253).

Эта разница в отношении к аристократам по происхождению и к аристократам по грамматике очень характерна и совершенно понятна; с общественным превосходством первых Гвоздевым не приходится примиряться, оно для них привычно; общественное же превосходство вторых слагается на их глазах и задевает проснувшееся в них человеческое достоинство; превосходство первых быстро вырождается, превосходство вторых растет и развивается, ложась в основу новой общественной структуры, при которой у Гвоздевых пробуждается человеческое достоинство, но которая все же оставляет их «в невежестве и озлоблении чувств».

Мы указали на несколько общих, групповых черт героев Горького — босяков. Этих черт немного, и они выражены недостаточно определенно. Босяки по самой своей сущности — индивидуальны. Их, как и «бывших людей», создали столкновения особенностей той или другой личности с установившимся складом общественной жизни. В сущности единственным свойством, действительно общим для всех без исключения босяков, является их неприспособленность к жизни. Неприспособленные обыкновенно неустойчивы, изменчивы, порывисты.

Таковы, действительно, почти все босяки Горького. Таковы в особенности Григорий Орлов и Емельян Пиляй. Про них нельзя сказать, злы они или добры. В них все неожиданно. Жестокость неожиданно сменяется мягкостью, дикая злоба — рыцарским великодушием.

Пиляй собирается убить проезжего купца и вместо того с женской нежностью утешает купеческую дочку, спасая ее от самоубийства.

Орлов после самоотверженного ухода за холерными больными готов натравить на докторов толпу и разнести больницу, где он, казалось, только что обновился душой.

IV

Горький пишет кровью сердца своего. Он правдив, но не бесстрастен. Когда он говорит — он страдает, любит, ненавидит.

Читая его произведения, чувствуешь, как бьется в них неспокойное, бурное сердце автора, и знаешь, что ему близко, что ему родственно, что он любит, что ненавидит.

Горький тоскует, подобно своим любимым героям, но тоска его — деятельная, протестующая, тоска не от бессилия, а от избытка сил, не находящих себе разумного выхода.

Горький любит силу за то, что она сила, он любит могучие порывы за то, что они нарушают ненавистный ему самодовольный покой.

Нравственное и сильное для него почти синонимы. Подвига ради подвига жаждут его герои, и нет душевного состояния, которое было бы более близко самому автору. Его собственная душа бьется и тоскует в груди Орлова, когда тот хочет встать выше всех людей и плюнуть в них с высоты... И сказать им: «Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего! И потом вниз тормашками с высоты и... и вдребезги! Н-да-а! Черт же возьми... скучно! И ох, как скучно и тесно мне жить!» (II, 151).

Стремление к подвигу ради подвига, поклонение силе как силе особенно ясно выражено в поэме «Макар Чудра» и в двух стихотворениях в прозе: «Песня о Соколе» и «Сказка о Чиже»³.

Отважная песнь Чижа, «объявляющего богам за право первенства войну», — это песнь самого Горького.

Горький — это живительный протест против скуки и покоя общинно-деревенской русской жизни. Горький — это реакция против славянской расплывчатости, мягкости и покорности.

И в природе Горький любит все сильное, порывистое, беспредельное. Он любит беспредельную ширь моря и степи, любит бездонное синее небо, любит то игривые, то сердитые волны, любит вихрь, любит грозу с ее раскатистым грохотом, с ее сверкающим блеском.

Ярко и неожиданно ново изображает он страстно любимую природу.

Здесь его творчество стихийно, как стихийно творчество народа в поэтическую пору его молодости.

Как в молодом народном сознании, так в сознании Горького мертвая природа одухотворяется, очеловечивается, оживает.

Горький сливает с ней — с беспредельной и бесконечно изменчивой — все волнения, все порывы своей человеческой души. Природа под его творческим дуновением смеется, плачет, тоскует, рвется вперед и протестует.

У Горького одинаково сильны и непринужденны как зрительные, так и слуховые впечатления. С необычайной легкостью он превращает слуховые представления в зрительные и наоборот. Тонкие душевные движения он переливает в смелые материальные образы. Воспринятые читателем образы эти превращаются обратно в душевные движения, заражая чуткие души тем же настроением, какое переживал автор.

Хотелось бы свой восторг перед творческой изобразительной способностью Горького подтвердить примером, подтвердить отрывком из какого-нибудь его поэтического описания природы, но что взять? Перелистываешь страницу за страницей, и все кажется одинаково прекрасным, все кажется лучшим.

Из 20 рассказов и очерков, вошедших в два томика сочинений М. Горького, слабее всех, пожалуй, «Старуха Изергиль»; но посмотрите, каким чудным описанием южной бессарабской ночи начинается этот рассказ:

«Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, вся ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль — только двое осталось под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в глубокой мгле ночи и темной зелени листвы силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, как лозы, с темно-синими глазами, — тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, и ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и химеричными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекрасней.

Кто-то играл на скрипке... Девушка пела мягким контральто, слышался смех... и воображение рисовало все звуки гирляндой разноцветных лент, реявших в воздухе над темными фигурами людей, поглощаемых мглой.

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд.

И все это — звуки и запахи, тучи и люди — было волшебно красиво, но грустно, казалось началом чудной сказки. Все было дивно и гармонично, но казалось остановившимся в своем росте и умирающим, так как мало было шума, живого, нервного шума, пылающего от времени все ярче; шум же, который был бы слаб, часто прорывался и все гас, удаляясь и перерождаясь в печальные вздохи сожаления о чем-то, может быть, о счастье, которое так неуловимо и случайно.

Я созерцал все это, и во мне рождались фантастические желания: хотелось превратиться в пыль и быть разнесенным повсюду ветром, хотелось разлиться теплой рекой по степи, вливаться в море и дышать в небо опаловым туманом, — хотелось пополнить собой весь этот чарующе-печальный вечер... и было грустно почему-то» (I, 106).

Великолепно! Но найдутся, наверное, критики, которые, прочитав эту страницу, пожмут плечами, посмеются над подчеркнутыми нами местами и торжественно изрекут модное слово: «декадентство». Найдутся, вероятно, даже и такие критики, которые, перелистав все произведения Горького, опять-таки изрекут: «декадентство». Да, господа, декадентство, но только декадентство вашего художественного чутья!

Вы назвали бы декадентскими и произведения Гете, если бы только вам не сказали, кто их автор.

В этом небольшом очерке мы коснулись далеко не всех сторон художественного таланта Горького, далеко не исчерпали содержания его произведений, мы отметили лишь наиболее яркое и законченное; но среди образов и настроений, законченных в произведениях Горького, рассыпана масса, так сказать, творческих намеков, из которых впоследствии должны вырасти крупные художественные творения. Только бы хватило у него бодрости и здоровья!

